

Владимир Салимон
На живую нитку



Владимир Салимон

На живую нитку

«Издательские решения»

Салимон В. И.

На живую нитку / В. И. Салимон — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-839983-1

Владимир Салимон — известный московский поэт, автор 20 поэтических книг. Владимир Салимон предстает в новой книге тонким лириком с парадоксальным мышлением. Подлинный подтекст стихотворений, замаскированный внешней простотой, несет в себе горько-ироничную усмешку. Владимир Салимон — лауреат премий журналов «Октябрь», «Арион», премии «Московский счет», Поэтической премии Римской Академии. Лауреат Новой Пушкинской премии 2012 года. Член Русского ПЕН-центра, Московской писательской организации.

ISBN 978-5-44-839983-1

© Салимон В. И.
© Издательские решения

Содержание

На сердце руку положи	6
Охотники вышли из леса	34
Конец ознакомительного фрагмента.	41

На живую нитку

Владимир Иванович Салимон

Иллюстратор Юрий Ильич Кононенко

© Владимир Иванович Салимон, 2017

© Юрий Ильич Кононенко, иллюстрации, 2017

ISBN 978-5-4483-9983-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

На сердце руку положи

Начало осени. День знаний.
Возможно, я бы не узнал,
как много у стакана граней,
когда б их не пересчитал.

Мне открывались тайны мира,
дотоле скрытые от глаз.
Я слышал, как труба и лира
зовут на штурм последний нас.

Труба поет, а лира плачет.
Чтобы себя не выдавать,
поэт лицо в подушку прячет,
ничком упавши на кровать.

Небо затянет с утра облаками,
но не испортят тебе настроенье
дети, ловящие раков руками
без раздраженья и без омерзенья,

что бороздят полусонные волны,
на берегу разложивши одежду,
будто бы ищут в земле корнеплоды,
перебирают морковь и картошку.

Черные раки, как скользкие клубни,
в руки детишкам легко не даются.
Ровно в двенадцать часов пополудни
звуки трубы вдалеке раздаются.

Погода обещает быть дурной —
дождливой и холодной повсеместно.
Метеоролог записной
с телеэкрана врет об этом честно.

А я в смущеньи отвожу глаза.
Не потому, что за него мне стыдно.

А потому, что ясны небеса
и нет тому препятствий очевидно.

В такие дни нисходит благодать
на землю, и серьезных оснований
нет у меня на веру принимать
потоки домыслов и предсказаний.

Рассвет изобличает нас во лжи.
Поскольку мы не слишком сладострастны,
поскольку мы не слишком хороши,
для милых дам мы больше не опасны.

Собой я любоваться не привык
за туалетом утренним,
признаться,
мне не особо нравится старик,
в которого я начал превращаться.

Процесс бритья отчасти есть процесс
проникновения в тайны мироздания,
как будто бы, минуя темный лес,
выходишь на просторы подсознания.

Казалось бы, я вышел на простор,
безбрежные вокруг открылись дали,
но что-то все же мой смущает взор —
вид общий и отдельные детали.

Велик в усадьбе барской урожай.
Количество в саду созревших яблок
уже перевалило через край.
Уже деревья повалились набок.

Петух, забредший с птичьего двора,
свой взгляд недобрый в спелый плод вперяет,
и вот уже в боку плода дыра
чуть ниже ватерлинии зияет.

С начала засухи проходит двадцать дней,
и воздух в поле делается черен,

как человек лицом,
или еще черней,
как будто камень из каменоломен.

Непререкаем, как халдейский обелиск,
с начертанным на нем посланьем строгим,
которого забыт давно язык, и риск
велик
остаться непонятым многим.

Природа в пору увяданья
благоволила нынче нам,
и доставало всем желанья
присматриваться к мелочам.

По местности пересеченной
текла река, а на реке
мальчишки в лодке плоскодонной
качались, словно в гамаке.

И было им ничуть не страшно,
а жутко весело, когда
лодчонки маленькой отважно
раскачиваются борта.

В дубовой роще желудевый стук,
как стук камней, течением влекомых,
где брызги над ручьем взмывают вдруг,
как будто рой крылатых насекомых.

Мне показалось, что скрипит песок
у спутницы моей под каблуками,
но это рыжий крошечный зверек
дыру проделал в желуде зубами.

При увеличении многократном,
как в траве усатого жука,
вдруг увидел в поле необъятном
пашущего землю мужика.

Многое с холма вершины видно,
прежде незнакомые места:

речку, что в кустах петляет скрытно,
глубока, студена и чиста.

На себя невольно примеряя
Божий мир, хоть это нелегко,
будто это шуба меховая,
я клонюсь под тяжестью его.

Мгла сокрыла облик внешний,
но осталось неизменной
суть того во тьме кромешной,
что является Вселенной.

Так как звезды и планеты
не имеют отношенья
к сути,
это лишь – предметы,
горней выси украшенья.

Суть невидима для глаза,
но присутствует незримо,
словно слабый запах газа,
словно легкий привкус дыма.

Словно птицы тень скользнула
вдоль кустов по краю сада
и по сердцу резанула
мне, как будто так и надо.

Равнина больше показалась,
чем есть она на самом деле.
Она, как только ни старалась,
но представлялась дамой в теле.

Такая долго и упорно
лишь притворяется простушкой,
чтоб после взять тебя за горло
и задушить во сне подушкой.

Мальчишка бросил камень в воду
и ждет – всплывет иль не всплывет.
Мальчишка победить природу
мечтая, лишь сигнала ждет.

Быть может, рано или поздно,
в начале осени, когда
так ясно небо и так звездно,
в ночи взойдет его звезда.

И осенит нас, слабых духом
и прибывающих в тоске,
и отзовется смутным слухом
в каком-то чудном далеке.

Дверь повернулась на петлях
так, словно в танце балерина
от края бездны в двух шагах,
еще безвестна и невинна.

С балкона открывался вид,
как в свете дня нам представлялось,
на город, парк, что был разбит
внизу,
сирень в жару металась.

Теперь на этом месте стыл
провал бездонный.
Купол звездный,
казалось, в пустоте парил,
как фокус-покус грандиозный.

Какой-то ловкий сукин сын,
добывши, скатерть самобранку
раскинул,
как лишь он один
умеет, застелил полянку.

Пока хирурги моют руки,
больной в неведомом краю
решил, не вынеся разлуки,
бежать на родину свою.

Но смуглолицая дикарка,
с которой делит ложе он,
его в ночи целует жарко.
Он спит и страшный видит сон.

Ему резекцию желудка

сейчас должны произвести.
И он лишается рассудка.
И холод чувствует в груди.

Как в точности устроен мир,
не знал китайский император,
но знает красный командир,
в чьем подчинении экскаватор.

В запале уверяет нас,
что он с бойцами докопался
до истины и в первый раз
со смыслом жизни разобрался.

Что никакого смысла нет,
когда бы мы об этом прежде
не знали точно с малых лет,
едва ль поверили невежде!

Самостоятельности не хватало мне.
Зависим был, хотел поспеть за модой,
о славе незаслуженной вполне
мечтал и тяготился несвободой.

Замыслил я свободу обрести,
как узник, стосковавшийся по воле,
и закричал: *Родимый, отпусти!* —
я Ангелу, что съел со мной пуд соли.

Но Ангел тот, что мой покой хранил
и отвечал за это перед Богом,
не внял моим мольбам, не отпустил.
Иначе говоря, уперся рогом.

Осенний лес желтеет сверху вниз.
Когда же он рассыплется вчистую,
как будто древний мозаичный фриз,
подумаю, что жизнь прошла впустую.

В унынье я впаду, как в забытье
впадает дева, ощутив угрозу
всей сущности божественной ее,
в саду мизинец уколов о розу.

Вода становится тяжелой.
Ее удельный вес растет.
И посреди равнины голой,
возможно, взрыв произойдет.

Насколько вероятно это,
я у тебя спросить решил,
но ты спала, и я ответа
на свой вопрос не получил.

Все в доме спали, кроме мухи,
зажатой меж оконных рам,
что с миром чувственным в разлуке
гудела страшно по ночам.

Дождь никогда не прекратится! —
жужжала в ужасе она,
уже готовая смириться,
что к смерти приговорена.

Смеркалось быстро.
Скоро дождь пошел.
Как будто прежде он стоял на месте.
Как будто на подъем он был тяжел
последние лет сто, а может, двести.

А тут заторопился, заспешил,
запсиховал, стал на людей кидаться,
на тех из нас, кто выбился из сил
и неспособен был сопротивляться.

Нам оставалось спрятаться внутри
своих домов,
пока угомонится
дождь за окном, ждать час, и два, и три.
И моду взять – проснувшись, спать ложиться.

Я позабыл лицо
того, с кем дружен был.
Я с пальца снял кольцо,
отрекся, разлюбил.

Теперь я – сир и гол.
Теперь я – чист и пуст.
Бери меня, монгол!
Бери меня, тунгус!

Возьми же, друг степей,
и волю, и талант!
Веди меня скорей,
Вергилий мой!
Мой Дант!

Только слабовольные машины
людям подчиняются всецело,
но и те без видимой причины
запускают когти в наше тело.

Что есть силы бьют электротоком.
Насмерть травят ядовитым газом.
Обжигают, если ненароком
прикоснешься к сковородке с мясом.

Среди общей смуты и разрухи,
замечая у тебя невольно
все в ожогах и порезах руки,
я не верю, что тебе не больно.

С Покрова снег обещан миру.
И мы с надеждой в небеса
глядим,
незримо кумиру
стараясь заглянуть в глаза.

Но глазом невооруженным
мы видим с горем пополам
лишь слой озона истонченным,
что превратился в старый хлам.

Следим за спутником, пропавшим
с орбиты много лет назад —
за Ангелом, безвинно павшим,
что адским пламенем объят.

За стенкой человек не спит,

но видит сон: пасутся кони
каурые,
гнедой стоит
один, стреноженный в загоне.

Красивый, статный жеребец.
Он словно вылеплен из глины,
из той, что вылепил Творец
член детородный для мужчины.

В нем все в избытке – сила, страсть.
Литая выя.
Дыбом холка.
На всем скаку с него упасть —
грехопадение и только!

Округлость форм ее пленяет.
Столь обольстительна земля —
кустарник редкий обрамляет
холмы пологие, поля.

Те, кто еще трудиться в силах,
оставшиеся в деревнях,
крестьяне пахут на кобылах.
А баре скачут на конях.

От холода забиться в щель спешим.
Ночник во тьме горит огнем чудесным,
а света шар во тьме висит под ним,
не смешиваясь с воздухом окрестным.

Он держится на честном слове, но
должно быть столь же крепким это слово,
как то, что было произнесено
однажды и что есть всему основа.

На гвозде висящий ключик
стал мгновенно золотой,
потому что солнца лучик
озарил наш дом пустой.

Так ложился снег на крышу
в этот чудный зимний день,

что казалось мне, я вижу
за окошком чью-то тень.

С давних пор я взял в привычку
ставить в вазочку цветы,
думать, что на электричку
опоздав, вернешься ты.

Ночь схлынет, как будто отступит вода
от линии береговой,
и мы переключку устроим тогда
всем выжившим в час роковой.

И мы обнаружим на мокром песке
следы мировых катастроф,
заметим мы груды камней вдалеке —
руины больших городов.

Отыщется лейка, которую ты
вчера потеряла в саду,
когда я раздвину малины кусты,
резиновый мячик найду.

Я думал это гад ползучий,
ну мышь,
ну землеройка,
а это жук под листьев кучей.
И только-то.
И только.

В преддверии зимы на силу
передвигает ножки,
копает сам себе могилу
на грядке у дорожки.

Ее он выроет не скоро
большую-пребольшую
и вдруг сбежит.
Вот ведь умора!
Все даром.
Все впустую.

Так была круглолица она,

как дитя с шоколадной обертки,
и смотрела она из окна
на районного центра задворки.

И давно бы себя извела,
и сама себя поедом съела,
но по счастью незрячей была,
по причине чего – уцелела.

Я однажды ей глянул в глаза,
что, казалось мне, небезопасно,
и увидел, что в них небеса
отражаются четко и ясно.

Нас птицы в лодке повезли.
Орлы на весла сели.
На вахту стали журавли,
что знают здесь все мели.
*Не бойтесь плыть, куда глядят
глаза, не разбирая
путей! —*
сороки гомонят,
вслед нам с тобой кивая.

Не верю я рабочим и крестьянам.
Изображая пролетариат,
усердствуют так, словно в споре пьяном
победу одержать они хотят.

Что за игру ведут они со мною,
упорно корча из себя народ,
которого мизинца я не стою,
поскольку я есть нравственный урод?

Мы хохотали, глядя в реку,
смеясь, по облакам ходили,
что по колено человеку
или по щиколотку были.

Но мы прекрасно понимали,
что солнце тускло, небо хмуро.
Лес отражался вверх ногами
в реке, как в камере обскура.

Красоту как ветром сдуло.
Но, святая простота,
прежде сладко ты уснула,
чем разверзлась пустота.

Если птиц лишить опоры
им привычной под крылом,
только крысы, скрывшись в норы,
выживут под тем дождем.

Всяк, оставивший надежду,
что спасется красотой,
сам с себя сорвет одежду
и начнет ходить нагой.

памяти Шерстюка

Из ничего возникло нечто – мухи.
Тарелка с фруктами – созревший виноград,
и персики, и сливы в том же духе —
наиценнейший жизненный субстрат.

За зарождением жизни наблюдая,
сегодня поутру увидел я,
как поначалу мушка небольшая
явилась миру из небытия.

Отбросив по пути послед тяжелый,
она насквозь продрогшая была,
совсем-совсем как человек голый,
лишенный материнского тепла.

Вставало солнце.
Все тянулись к свету.
В хрустальной вазе срезанный цветок,
когда я заметил мушку эту,
уже повернулся на восток.

Что на месте время не стоит,
как от поезда отставший пассажир,
я кричу в окошко, но молчит,
глядя на меня с тоской, кассир.

До меня кассиру дела нет.
На меня кассиру наплевать.
Не возьмет он в руки пистолет
и меня не станет убивать.

Тычинки с пестиком срослись
не так,
не там мы родились,
не в той Москве, что на картинке,
а в той, которая на снимке,
чуть пожелтевшем по краям.

Нам на двоих полвека там.
Мне десять лет, отцу под сорок.
На нем, как будто он геолог,
ковбойка в клетку.
Поверх брюк.
Им овладел мятежный дух!

С невероятной быстротой
забыв про труд общепольный,
стал жить подолгу под Москвой,
как барин я мелкопоместный.

Вставать не рано, кофий пить,
на протяжении беседы
с женой, пытаясь облегчить
шнурок на туфле левой кеды,

я в исступленье приходил —
дерзил, дурачился, кривлялся,
но после – белочку кормил
в саду с руки.
И умилялся.

В рост человека сорная трава.
У скачущего по полю верхом
в траве видна лишь только голова,
как будто он не человек, а гном.

Я издали машу ему рукой,
а всадник, приподнявшись в стременах,

кричит мне громко, словно я глухой
и ничего не слышу в двух шагах.

Из сада залетела стрекоза,
что приключается не слишком часто,
поскольку зорче у стрекоз глаза,
чем у жуков и бабочек гораздо.

Но ошибиться может и она,
доверившись не чувству, но рассудку.
И вот – кружит по комнате без сна,
присаживаясь только на минутку.

С трудом я успеваю разглядеть
за это время чудное создание,
что в дом ко мне дерзнуло залететь
и понести за дерзость наказание.

С началом холодов сошли грибы.
И человек с корзинкой на вокзале
среди разноплеменной шантрапы
сегодня утром встретится едва ли.

Напрасно попытаюсь я найти
его в толпе,
пусть даже где-то рядом
он железнодорожные пути
из края в край пространством мерит взглядом.

С высокого перрона смотрит он,
как будто бы лицом к зловонной яме
поворотясь, где будет погребен,
чтоб превратиться в прах и тлен с годами.

Спросишь:
Можно, я еще поплаваю?
А как только выйдешь из реки,
над тобой бесчисленной оравой
закружатся в небе мотыльки.

Потому что тело твое светится,
потому что, стоя нагишом,
выглядишь, как русская помещица,

вскормленная птичьим молоком.

Оркестранту в нужном месте
дирижер не подал знака.
Оркестрант ему из мести
срезал пуговицы с фрака.

Музыка пришла в упадок,
живопись, литература,
но Господь навел порядок.
Сдвинул брови.
Глянул хмуро.

И над ямой оркестровой
дирижер в одной рубашке,
как орел белоголовый,
крылья распростер во мраке.

Не дотянувшись до окна,
сломается сухая ветка.
Как на ветру трещит сосна,
дотоле слышал я нередко.

И вот пожалуйста – и хруст,
и скрип, и стон, и плач – все разом!
Так горизонт широк и пуст,
что не окинуть его глазом.

Чудесный мне открылся вид:
ведущая к усадьбе барской
дорога из замшелых плит,
побитых конницей татарской.

Сперва отрыли череп конский,
и тот, кто землю рыл, сказал,
что, может быть, царь македонский
на этом жеребце скакал.

Луна взошла и осветила
степи бескрайний уголок,
и был полночного светила
лик бледен, грозен и жесток.

А череп конский зубы скалил
и огрызался всякий раз,
когда костяшку против правил
брал в руки кто-нибудь из нас.

Я понял, что такое *гнуть в дугу*,
когда увидел железнодорожный
рельс, связанный узлом, на берегу
песчаном небольшой реки таежной.

Что терпит поражение в борьбе
с живой природой неодушевленный
предмет, я понял на лесной тропе,
когда увидел камень обожженный.

Его огонь небесный сжечь дотла
однажды мог без видимой причины.
Дыра с тех пор, должно быть, в нем была,
как в кувшине из жаропрочной глины.

Походит больше на чертеж,
чем на рисунок —
в лунном свете
сам на себя сад не похож,
от прежнего осталось меньше трети.

Все лишнее зимой ушло под лед,
но обнажилось то, что было скрыто,
как будто вышел Государь вперед —
и отступила на полшага свита.

Мне стыдно в этом признаваться.
Пока не сделалось темно,
не зная, чем еще заняться,
я целый день гляжу в окно.

Бог ведь зачем в соседней роще
палит охотник из ружья,
или на вещи смотрит проще
и зря не мучает себя?

Аксаков этого не знает.
Тургенев, хоть и знаменит,

довольно слабо представляет
кто на Руси в *кого* палит.

Разглядываю тощую, как спичку,
я цаплю серую – волнуется дуреха!
Посматривать по сторонам в привычку
вошло у тех, кто вечно ждет подвоха.

Хвостом ударит рыба, хрустнет ветка
случайно у меня под сапогами,
тотчас моя пугливая соседка
Замашет на меня во тьме руками.

О, Господи! —

в сердцах воскликнет птица
с таким ужасным в голосе укором,
с каким дитя на белый свет родится,
чтоб умереть однажды под забором.

Слепо следуя букве закона,
словно ортодоксальный еврей,
вытолкал проводник из вагона
двух подвыпивших крепко парней.

Нарушители правопорядка
долго свой собирали багаж.
Снег пошел, начиналась посадка
на идущий в Москву поезд наш.

Хлопья снега парней облепили.
Хорошо, полицейский наряд
прибыл вовремя в автомобиле
и умчал их с собой в город-сад.

Это не для глаз твоих картина,
так как взглядом встретиться со злом
все равно что слиться воедино
с грязным, скверно пахнущим козлом.

На него пожаловаться маме
даже при желании нельзя —
забодает острыми рогами,
залягает до смерти тебя.

Поезд переехал человека.
Взял под мышки ноги человек,
всем известный в городе калека,
и продолжил свой по жизни бег.

Невероятно сумерки глубоки.
В отличие от девушки с веслом
красавица уперла руки в боки
и завязала волосы узлом.

Ей простыню купальную полощет
внезапно налетевший ветерок
и на макушке волосы топорщит,
и гладит нежно икры крепких ног.

Чуть сладковатый запах загорелой
дубленой кожи мне щекочет нос,
как будто запах алой или белой,
иль чайной розы – лучшей между роз.

В траве – густом, высоком мятлике,
в дверях при входе в муравейник
стоят усатые привратники.
Шмель носом тычется в репейник.

Есть у изнанки и обочины
особое очарованье.
Как гусениц тела утончены,
нельзя не обратить вниманье.

И не заметить связь подспудную
их с бабочками, грациозно
танцующими польку чудную.
Тут невозможное возможно.

Детский праздник подходил к концу
и, когда вскочили разом с кресел,
отряхнувши с крылышек пыльцу,
дети,
зал мне показался тесен.

Может, он и вправду невелик

и не обустроен в должной мере,
просто я ходить в него привык,
в узкие протискиваться двери?

Нам нанесший немалый урон
относительно южных степей
небольшой скандинавский циклон —
ну совсем воробей-воробей!

Зря он клювом по дереву стучит,
даром выпятил грудь колесом.
Потому как мы есть Русский щит,
то нельзя приходить к нам с мечом.

Петр уехал достраивать флот.
Карл к султану бежал под крыло.
Если метеосводка не врет,
ясно будет опять и тепло.

В шелку между стеной и подушкой
нос засунувши, молча лежу.
Я теперь на больную старушку
все разительнее похожу.

О, закрой свои бледные ноги! —
это не про тебя – про меня,
так как от разговора о Боге
уклоняюсь мучительно я.

Я все больше о речке, о поле,
о цветах на зеленом лугу,
относительно нашей юдоли,
проклиная печаль и тоску.

На глазах у нас замерзли ветки
небольшого кустика сирени,
а внутри ее —
в хрустальной клетке —
мечутся в потемках чьи-то тени.
Это души умерших
наверно,
говорит ребенок малолетний,
просмотревший много непомерно

фильмов, полных вымыслов и бредней.

Песня или же молитва
донеслась из радиоприемника,
когда в щеку врезалась мне бритва,
а потом сказали:
Экономика.

За спортивной передачей следом
что-то хрустнуло.
Умолкло радио.
Догорала тусклым синим светом
на плече моем большая ссадина.

В зеркале рассматривал я долго
сам себя,
а утро непогожее
было серым, как под Тверью Волга,
скверное, дурное, нехорошее.

Приморозило, теперь уж не отпустит.
Но реки дыханье подо льдом
я как старый, опытный акустик
все же уловить сумел с трудом.

И надежда на мгновение мелькнула,
что в Москву-реку подводный флот
вышел на несенье караула,
встав вблизи от Яузских ворот.

Ах, какие мы все же проказники!
Ах, какие мы все же затейники!
Обожаю советские праздники:
дни культуры, науки и техники.

А ночами разглядывать нравится
мне жену, на груди моей спящую,
что тихонько во сне улыбается,
так как верит в любовь настоящую.

Сон мой длился ровно три минуты.

Времени едва хватило
глянуть, как у нас живут якуты,
окупаться в воды Нила.

Я успел взобраться на подножку
отходящего трамвая,
взять билет, с трудом пролезть к окошку.

Тут кондукторша немолодая,
кожаную сумочку с деньгами
зажимая между ляжек,
замахала белыми руками,
закричала:
– *Сивцев вражек!*

Сучок насквозь проткнул плечо,
но больно мне не стало,
а стало очень горячо,
как прежде не бывало.

Зря говорят, что болевой
порог с годами ниже,
когда ни мертвый, ни живой
ты к смерти все же ближе.

Тварь дрожащая, а зубы скалит.
Колбасы за это ей не дам.
Стих о ней едва ли след оставит
в душах наших распрекрасных дам.

Он едва ли станет песней,
слова
из которой выкинуть нельзя,
потому ль, что снега нет с Покрова,
под ногами – голая земля.

Поутру в саду замерзли лужи.
Их остекленевшие глаза
к вечеру потрескались от стужи,
как в мороз тугие паруса.

Я старался походить на старших.
Как бы им ни нравились бразильцы,

а болели все равно за наших
всей душой поильцы и кормильцы.

Чувствую себя я отщепенцем,
так как я победы не желаю
итальянцам, чехам, венграм, немцам,
чем своих товарищей пугаю.

За свободу, равенство и братство
не хочу идти на баррикады.
В поисках духовного богатства
не хожу я в царские палаты.

Охотником одевшись, барин
бредет по лугу.
Ранний час.
День ясен, светел, лучезарен,
что редкость осенью у нас.

Еще вчера за снегопадом
я наблюдал, смотря в окно.
Зажегши свет, ты села рядом,
поскольку сделалось темно.

Тургенев, возвратясь с охоты,
курил, смеялся.
У стены
чернели снятые им боты,
как из-под масла кувшины.

Однообразие – черта.
Равнинной местности присуща
не столько серость —
беднота,
которая, как в супе гуща.

Ужасно горькая на вкус
она нам портит всю картину.
Как если б суп был из медуз,
съедобных лишь наполовину.

Взаимодействия двух сил,
дождя и снега на рассвете

не выдержит наш слабый тыл
напора – женщины и дети.

С начала осени лежит
старуха, глаз не открывая,
и муха, что над ней жужжит
не знает, что она живая.

Садится муха ей на лоб,
того не зная, что старуха,
хоть одноглаза, как циклоп,
но не глуха на оба уха.

Я не застелил кровать, поскольку
думал вновь залезть под одеяло.
Редкая возможность юркнуть в койку
среди бела дня меня прельщала.

За окном уже утихла вьюга,
но с высокой ели снега комья,
падая, о землю бились глухо.
Копошилась на дворе Прасковья.

Видимо, ошибся Исаковский:
вон она – ругается с соседкой!
Говор – быстрый, резкий, не московский.
Голос – словно кто-то хрустнул веткой.

Машины к нам подкрались очень близко.
Автомобили, самолеты, корабли. Внезапно
оказавшись в зоне риска
с умом собрались мы и мышцы напрягли.

Из разговора с внуком вдруг я понял,
как он беспомощен, как беззащитен он,
и бережно его за плечи обнял,
и предложил пойти со мной считать ворон.

В сад залетела пташка божья,
столь редкая для здешних мест,
и примостилась у подножья
столба, похожего на крест.

Столб уличного освещения

и вправду крест напоминал,
но прежде этому значенья
никто из нас не придавал.

В мгновенье ока коноплянка,
вспорхнувши в небо, скрылась с глаз,
но эта птичка-христианка
задела за живое нас.

Произошел системный сбой,
как говорят специалисты,
что пользуют язык иной,
чем мы – поэты и артисты.

Что все пошло и вкривь и вкось,
я чувствую совсем иначе,
когда ложусь с женою врозь
спать – в разных комнатах на даче.

И это вовсе не пустяк,
а катастрофа, право слово,
как если б пал на землю мрак,
не стало ничего святого.

Попалась мышка в лапки кошке.
Такое ощущение было,
что я, спасаясь от бомбежки,
забрался в шкаф.
Меня стошнило.

Вокруг темно – ни зги не видно.
А острый запах нафталина
щекочет горло.
Страшно стыдно.
Противно умирать, Ирина!

О чем мы судачим, огни погасив?
Конечно, совсем не о том,
большим ли, Бог весть, во Вселенной был взрыв,
что все полетело вверх дном.

Я глажу тебя по горячему лбу,
в крови твоей чувствуя жар,

как сыпет в ночи ледяную крупу
декабрь на сухой тротуар.

Белее за окнами снежный покров.
Морозец. Начало зимы.
Ночной разговор протекает без слов.
Обходимся жестами мы.

Я палец к губам приложил, чтобы ты
меня без труда поняла —
у нас за спиной сожжены все мосты.
Жизнь наша как сажа бела.

Елка за стеной упала
или китель в орденах?
Вдруг раздался звон металла
ночью в каменных стенах.

Может, это нам приснилось?
Крик поднялся, шум и гам.
Что-то с грохотом разбилось,
раскатилось по углам.

Словно брызги разлетелось
разноцветное стекло.
Впилось в руки, ноги.
Вьелось
в губы, щеки нам назло.

Калачиком свернувшись, спит дитя.
Лес за окном теряет очертанья —
так быстро испаряется дождя
слепого влага,
что плывет сознание.

Все призрачно, к чему ни прикоснусь.
Сучок ольховый или ветка клена —
все крайне зыбко.
А Святая Русь —
определение неопределенно.

Тщась ложный смысл вложить в него, легко
дозволенную меру переходишь,
ведь яблоко, что слишком велико,
усильем слабых пальцев не разломишь.

С потусторонним миром связи нет,
но в перспективе отдаленной
возможно, что отыщется мой след.
Звонок раздастся ночью темной.

Как будто бы голубка из горсти,
свет прыснет из-под абажура,
неподключенной к электросети
настойной лампы,

как стрела Амура,
тьнь легкая скользнет среди ветвей,
нежнейшим снегом опушенных,
и цель найдет в кругу моих друзей,
на смерть невинно осужденных.

Смертельный холод ощутил
под утро, завернувшись в одеяло,
что было выше моих сил,
которых оставалось крайне мало.

Чтобы понять, как тяжело мне
пришлось тогда, вообрази картину:
Горит земля.
Дворцы в огне.
Спасенья нету ни отцу ни сыну.

Помпеи гибнут на глазах
у публики, отнюдь не беспощадной,
но любящей во всем размах,
масштаб, объем, до ярких зрелищ жадной.

Хождение по водам водомерки
в смущение приводит нас с тобой.
В жару немногочисленно возле церкви,
а на берег народ валит толпой.

Речная гладь вся в рытвинах, ухабах,
что часто не заметно никому
из тех, кто в продолжительных забавах
теряет времени и сил душевных тьму.

Но все равно находится охотник
серьезное значение придавать
любому пустяку.
Пузыреплодник,
едва расцветши, начал отцветать.

На сердце руку положи,
я говорю своей подруге:
*Как ты чудесно хороша
нету второй такой в округе!*

Нисколько не кривя душой,
я говорю:
Целую ручки! —
таджичке в лавке овощной.
Босой. В кроссовках на липучке.

Сколько ни вглядывались, ничего
не удалось рассмотреть нам во мраке,
но развиднелось, и скоро легко
сориентировались бедолаги.

В метрах пятидесяти – у реки —
на холодке посинела рябина.
Ягоды спелые, как поплавки,
вниз по течению уносит стремнина.

Пляшут, танцуют они на волнах,
на берег выбраться тщатся
и на замшелых седых валунах,
словно букашки, мостятся.

Залюбовался красивыми ножками
женщин, скользящих во тьме вдоль вагона.
После дождя пахли мокрыми кошками
травы, растущие возле перрона.

Как ни старался, но существования
не представлял себе мира иного,
словно не чувствовал жара дыхания
прежде ни разу я друга больного.

Словно не чувствовал запаха горького

в поле ночами цветущей полыни —
резкого, жесткого, крепкого, стойкого,
будто бы не ночевал я в пустыне.

Погода отклоняется от нормы.
Она так быстро видоизменяется
по части содержания и формы,
что предсказать ее не получается.

Нет никакого смысла строить планы.
Сейчас у нас такое положение,
что тот, кто пишет длинные романы,
большое вызывает сожаление.

Эпохой возвращения Набокова,
быть может, наше время назовут.
Мне жалко, что из прошлого убогого
в грядущее отнюдь не всех возьмут.

Писателей хороших в светлом будущем,
вполне возможно, будет не хватать,
определенно будет мелким служащим,
как и сегодня, некого читать

ОХОТНИКИ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА

Тяжелые копья на плечи
взвалив, утопают в снегу.
Собаки их лают при встрече,
и лай их наводит тоску.

Охотники вышли из леса,
и стало понятно, что есть,
есть в мире помимо прогресса
достоинство, совесть и честь.

Есть то, что высоким искусством
приучены мы называть,
пытаясь разрозненным чувствам
единую форму придать.

И Брейгель тому в подтвержденье
работает ночь напролет.
И Ангел небесный сраженью
с нечистой силой ведет.

Как у Ленина в Горках, на даче у нас
снег пушистый на ветках у елок.
Если выйти на улицу, тотчас же в глаз
сотни острых вопьются иголок.

Невеселое дело одну за одной
извлекать их из вещей зеницы,
слыша, как в полумгле за фанерной стеной
нашу паклю воруют синицы.

С азартом жестяную банку
гоняют по двору мальчишки.
Затеяв с ними перебранку,
отвлекся я от умной книжки.

На месте самом интересном,
когда у главного героя
бежит жена с юнцом прелестным.
А в результате гибнет Троя.

С утра до вечера, весь день
снег сыпет, как в театре драмы,
где осыпается в сирень
и в кринолинах ходят дамы.

Конца унылой пьесе нет.
Давай по лестнице старинной
мы лучше спустимся в буфет
есть бутерброды с осетриной.

На себя похожим человек
Ангела рисует кистью тонкой.
Так как накануне выпал снег,
обернула мать дитя пеленкой.

Если повезет, то разглядишь
в темноте под реденькой тряпицей,
как сучит ножонками малыш
и чуть слышно тенькает синицей.

Привлечет внимание ребят
ослик в глубине яслей стоящий,
маленький конек,
на первый взгляд
не игрушечный, а настоящий.

Недостающее звено
в цепочке долгих превращений —
спокойно я смотрю в окно
на кустики сухих растений.

Я рыбой был,
и птицей был,
и наземь с неба камнем падал.
И фотку той, что я любил,
во внутреннем кармане прятал.

Прогулка затянулась допоздна.
В конце концов ты промочила ноги,
слегла в постель и сделалась больна.

Такие вот печальные итоги.

Зимой закат особенно красив,
но чтобы им теперь полюбоваться,
под спину пуф диванный подложив,
ты за руку мою должна держаться.

Вещи нас преследуют повсюду
и поработить нас норовят,
взять к примеру старую посуду,
на которой больше не едят.

Так из поколения в поколение
ходит скарб домашний по рукам:
соусники, блюдца для варенья,
что достались нам от наших мам.

Медный чайник из второго в третье,
без на то особенных затрат,
перекочевал тысячелетье.
Невелик, но кряжист и пузат.

Понимаю подзаборность.
Чувствую неродовитость.
Ощущаю поднадзорность,
вседоступность и открытость.

За людьми, меняя маски,
наблюдают год за годом
звери, птицы.
Строят глазки
мухи.
Пчелы кормят медом.

Россия неделима быть должна
и нерушима?
Хочу жену спросить я, но жена
проходит мимо.

Покрылся за ночь льдом кустарник весь.
Цветы завяли.
Кто скажет мне, что приключилось здесь,
пока мы спали?

От хорошей до плохой
жизни – ехать дни и ночи.
Между Курском и Москвой
расстояние короче.

Стрелочник взмахнет флажком,
машинисту даст отмашку.
Если б был он моряком,
на груди рванул тельняшку.

Жизнь моя не удалась.
И его, как видно, тоже.
Мне столь явственная связь
жуткой кажется до дрожи.

Был с Богом их союз не по любви,
а по расчету заключен.
Зимою,
от холода спасаясь, воробьи
под своды храма ринулись гурьбою.

Я удивился, за приметив их, —
извечных наших спутников веселых,
томящихся среди отцов святых,
угодников в одеждах длиннополых.

Под куполом клубилась мгла чуть свет.
Тянуло сыростью из подземелья.
Печально сознавать, но спору нет,
что Божий храм – не место для веселья.

Пилят, режут, снова пилят, режут.
А когда дорежут до конца,
я услышу характерный скрежет
острого токарного резца.

Тонок лед, но он прочнее стали.
Конькобежец токарю сродни.
Наивысшей сложности детали
мастера вытачивать они.

За мгновенье близости с тобой,
если не поможет граница,
а не потому, что я скупой,
в полной мере мне не расплатиться.

Нечего взамен тебе отдать.
Свет гашу я, не подозревая,
что твоя широкая кровать
глубока, как яма долговая.

Про кислорода атомарный вес
не спрашивай меня – я знать не знаю,
но чем я дальше забираюсь в лес,
тем больше его тяжесть ощущаю.

Он так тяжел, что я дышу с трудом,
как будто бы тройным одеколоном,
не в переносном смысле, а в прямом,
в лесу еловом воздухом студеным.

Как жалость к бедному калеке
в сердцах соседей по квартире,
сон промелькнул, чтобы навеки
исчезнуть в сопредельном мире.

Я не запомнил, что мне снилось.
Казалось, вдруг само собою
на кухне радио включилось,
вдруг вспыхнул свет над головою.

Входная дверь была открыта,
так словно, выйдя по морозу
из дома, кто-то дверь для вида
прикрыв, сорвал на клумбе розу.

Зима. Мороз. Клубится мрак.
Кусты по ветру клонятся.
Руками люди машут так,
как будто в бане моются.

Как будто хлещутся они
березовыми ветками

в чаду, в пару, среди родни —
кто с женами, кто с детками.

Какими рыба подо льдом
путями ходит сложными,
быть может, ты поймешь потом
за чаем и пирожными.

На все вопросы дать ответ,
пожалуй, не получится.
Я не философ, а поэт,
и зря не буду мучиться.

Охотно имена раздам,
взяв в руки книжку записную,
я дальним странам – милых дам,
которых все еще волную.

На окнах – ледяной узор,
как будто контурная карта,
но, как и прежде, до сих пор
хватает куража, азарта.

Я в сумерках, как на распутье,
в начале долгого пути.
И кованой ограды прутья
торчат, как пики, впереди.

Порою чудятся во мраке
мне главы мертвые на них.
Мамай прошел здесь, лишь собаки
остались кое-где в живых.

Друг к дружке жмутся, сбившись в стаю.
Так воют жалобно они,
что поневоле затыкаю
я уши и гашу огни.

Уверенность вселяет в нас
событие нерядовое —
Попова святочный рассказ,

Алиготе полусухое.

Почувствовав, как на меня
космическая пыль ложится,
предположу, что, верно, я
успел прилично запылиться.

Мне станет грустно и смешно
одновременно, потому что
хоть и состарился давно,
но мне веселие не чуждо.

В темноте творятся темные дела.
Выглянув в окошко, ужаснусь я,
до чего себя столица довела —
сделалась страшнее захолустья.

Словно собранный детьми металлолом,
с Рождества оставшиеся елки
грузят в кузов самосвала, а кругом
ржавые рассыпаны иголки.

В любое время дня и ночи
чего нам стоит опасаться?
Что скорый поезд прогрохочет?
В окно соседи постучатся?

От неожиданности сердце
в груди, как птица, встрепенется,
когда чуть свет в буфетной дверце
ключ еле слышно повернется.

Те, что у нас крадут конфеты,
воруют вафли и печенье,
в плащи дурацкие одеты,
как в старом замке привиденья.

Я выпил в день рожденья Чехова
один, поскольку мне особо
позвать на угощенье некого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.